

Лидия Чарская

# Ее величество Любовь



# Лидия Алексеевна Чарская

## Ее величество ЛЮБОВЬ

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=635945](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635945)

*Лидия Чарская. Повести и рассказы:*

### Аннотация

Давно уже старый дом в Отрадном не видал такого громадного стечения публики. На любезное приглашение радушных хозяев съехалось почти все окрестное русское и польское общество, мелкие и крупные помещики, считавшие за особую честь побывать в гостинной Бонч-Старнаковских. Офицеры и артиллеристы из недалекой, в нескольких верстах отсюда, находившейся крепости, семейные и холостые, съехались на спектакль...

# Содержание

Часть первая	4
Глава I	4
Глава II	19
Глава III	24
Глава IV	31
Глава V	38
Глава VI	46
Глава VII	55
Глава VIII	64
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Лидия Алексеевна Чарская

## Её Величество Любовь

### Часть первая

#### Глава I

Волнующий и острый, как запах экзотического цветка, уносится под своды белого зала мотив танго.

Толя, в новом, с иголочки, военном кителе, узких рейтузах и высоких ботфортах, бережно держит в своих объятиях стройную фигуру Зины Ланской и каждый раз, как прелестная вдовушка, извиваясь змеею, наклоняется совместно с ним к блестящим квадратикам паркета, шепчет ей что-то значительное в её розовое ушко.

А в большие старинные окна белого зала смотрит ясный июньский вечер. Алой кровью брызжет уходящее солнце и на оконные стекла, и на китель Толи, и на рыжие пушистые волосы Зины, кажущиеся сейчас огненным пламенем костра. Дразнящая мелодия танго, приобретая какую-то особенную выразительность под искусными пальцами корнета Луговского, извлекающего ее из чуть разбитых струн старинного рояля, и рыжие волосы Зины, пронизанные умирающими

лучами солнца, и раздражающе красивые движения на диво подобранной красивой пары танцоров, – все это дает впечатление чего-то первобытно-вакхического и утонченно-заманчивого в одно и то же время.

Треть зала отгорожена высоким помостом сцены, устроенным для предстоящего любительского спектакля. Сейчас с высоты его Вера, Муся с Варей, корнет Луговской, сидящий за роялем, и «любимец публики» следят, не спуская взоров, за каждым изломом своеобразно-чарующего и наивно-бесстыдного танца, твердо обосновавшегося минувшей зимой во всех «укромных» уголках Петербурга.

Пронесясь мимо сестер, Толя поворачивает покрасневшее лицо с блестящими глазами в их сторону и кричит с дурашливой миной: «Девочки, прячьтесь!.. Разве не видите? Становится неприличным», – и, тотчас же ловким движением притянув свою даму, бросает ей на ушко:

– Я люблю вас, Зина, и так готов был бы кружиться с вами всю жизнь.

Вдовушка смеется. Она всегда смеется в ответ на такие «эксцессы», и этот смех волнует офицера не меньше её близости под мотив танго.

А потом она начинает возражать ему.

Какой вздор!.. Он любит, маленький Толя, которому она годится в прабабушки! Да и умеет ли он еще любить? Да, любить он умеет, но не ее, Зину, свою старую кузину (она умышленно подчеркивает «старую», прекрасно сознавал все

обаяние своей пышно распустившейся двадцативосьмилетней красоты), а свой полк, товарищей, семью, сестер, «Аквариум», «Виллу Родэ», «Палас-театр» и некую крошку Жильберту, которая и научила его так бесподобно плясать танго.

И Зина опять смеется своим раздражающим смехом, как могут смеяться только русалки на озере в воздушную лунную ночь.

Её кавалер весь закипает негодованием. Пользуясь каждым движением танца, сближающим их фигуры и головы, он говорит взволнованно и тихо, так тихо, что Зина одна только может услышать его:

– Зина!.. Злая, жестокая! И вам не стыдно? Мало того, что измучила, – еще дразнит, гадкая детка. Ну, да, Жильберта – не выдумка, а – увы! – факт неоспоримый... Но чем же я виноват, что эта маленькая француженка подвернулась как раз тогда, после того кутежа на масленой – помните, Зина? – когда вы... когда вы...

– Довольно!.. Довольно! Я – не любительница сильных ощущений и боюсь пробуждения ревности больше всего! – притворно испуганно восклицает она. – Пощадите, мой милый! Не хотите ли вы посвятить меня в тайну ваших отношений к маленькой профессорше танго?

И опять смех, раздражающий, пьянящий смех русалки.

На красивом, свежем лице Анатолия появляется злое выражение.

«Подожди! Посмеешься ты у меня когда-нибудь!» – про-

носится сладострастно-жестокая мысль в его мозгу, и он до боли сильно сжимает тонкую кисть Ланской.

– Ай! – вскрикивает Зина. – Вы с ума сошли, маленький Толя! Я – не поклонница подчинения грубой силе. Пожалуйста запомните это раз и навсегда.

Она говорит это и в то же время вся отдается капризному ритму танца, увлекаемая за собой и кавалера.

Танец исполняется бесподобно, все восхищенно следят за ним.

Даже корнет Луговской, играющий на рояле, не в силах сдержать свой восторг. Он обрывает мотив танго на полфразе, выскакивает из-за рояля и кричит, бешено аплодируя:

– Bravo! Bravo! То есть удивительно как хорошо! Неподражаемо! Настоящие профессиональные танцоры! И знаменитая Жильберта в «Вилле Родэ»...

Тут блестящий лакированный сапог со шпорой незаметно нажимает его ногу.

– Тс-с-с! При сестрах-то! – шепчет Толя с растеряннo-комическим лицом.

– Пожалуйста, не стесняйтесь! Мы – не дети и отлично понимаем, как вы проводите свободное время в столице. Не правда ли, Варюша? – звенит тонкий, мелодичный голосок младшей из сестер Анатолия, его любимицы, шестнадцатилетней Муси.

Это – еще не сформировавшаяся, но удивительно мило-

видная девчурка, с такими же живыми, сверкающими задором и радостью жизни глазами, как и у брата.

Та, к кому она обращается, – бесцветная, тихая, застенчивая девушка, её подруга по институту, – молча, с испуганным смущением глядит в её карие, задорно поблескивающее глаза.

– Ха-ха-ха! Очаровательно, детка! Молодчинище! Вы прогрессируете, сударыня, – раскатывается беспечным, веселым смехом Анатолий, хватая за руки младшую сестру и кружась с нею по сцене.

– Ну, да, конечно молодец, если на то пошло, – лукаво и бойко поглядывая на мужчин, посылающих ей одобряющие улыбки, продолжает Муся. – Ну, да, я говорю исключительно только правду и притворяться не желаю. Мы – не дети. И танго многие из нас в дортуаре по вечерам танцуют, и открытки с Жильбертой, популярнейшей его исполнительницей, не стыдятся иметь у себя. Ведь это – красота, а красота и мелкий стыд несовместимы.

– Bravo! Дальше, детка, дальше!

– Муся! Муся! Перестань! Что ты? – с искренним ужасом срывается с тонких губ старшей сестры, Веры, от прямой, худощавой фигуры которой, от строгих черт и темных, без блеска, спокойных глаз, как и от всего её смуглого лица, веет чем-то суровым, как от древней, византийского письма, иконы.

– Полно, Верочка, ничего нет дурного в том, что я гово-

рю! – еще веселее и задорнее подхватывает Муся. – Не хочу притворяться наивной деточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замечать величия красоты там, где это не принято. И врать не хочу тоже. Ну, да, мне нравятся раздражающая, капризная музыка танго – мотив его, нежащий и как будто убаюкивающе-усталый, и ритм его, и движения, как нравится всякое другое смелое начинание, как нравятся рыжие, обесцвеченные нашатырем и перекисью, волосы Зины и...

– Муся! Муся! – и ужас вселяется в невыразительные до этого, молчаливые глаза Веры.

– Ничего. Оставь ее, кузиночка!.. Продолжай, Муська! Это прелесть что за девчонка, право! – не совсем искренно и шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминании о нашатыре и перекиси водорода горячий румянец выступает на слегка тронутом косметикой прелестном лице.

– Ах, нет, не буду говорить больше, не хочу! Пожалуй с Верой удар еще сделается. Ведь все, что я говорю сейчас, не принято, неприлично в обществе, и за это маленьких детей секут розгами и ставят в угол! – и пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризным и совсем ребяческим в эту минуту.

«Любимец публики» признает этот момент очень удобным, чтобы подойти к ней.

– Вы прелестны, – говорить он неестественным тоном, наклоняясь к поэтично растрепанной темно-русой головке, – и

дорого бы я дал – честное слово! – чтобы этот маленький ротик, враг условностей, трафарета и пережитков гнилой традиционности, сказал мне что-нибудь такое приятное, от чего... Кровь в моих жилах забурлила бы, как огненная лава.

Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо стареющего актера, с плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами дышит на Мусю запахом дорогой сигары и цветочным одеколоном, которым он ежедневно обтирает себе щеки после бритья. Сладкий и пряный аромат каких-то исключительно дурманных и крепких духов исходить целой струей от его безупречно сшитого светлого костюма и ударяет в голову.

Муся чувствует инстинктивное отвращение к «любимцу публики» – или, вернее, к артисту частных петербургских театров, Думцеву-Сокольскому, привезенному; братом Толей из столицы для постановки их любительского спектакля.

Думцев-Сокольский чувствует себя здесь, в этом чудесном уголке Западного края, в старинной усадьбе Бонч-Старнаковских, как в раю. Полный отдых на лоне живописной природы, отличная кухня, обилие интересных женщин, как вино, дурманят мозг актера. Очаровательная вдовушка, племянница хозяина, действует на него, как бокал шампанского, своей эксцентричностью, обаянием красивой, свободной женщины и «шиком». Вторая дочь помещиков, Вера, величавая, строгая, замкнутая, со смуглым иконописным лицом и суровыми глазами, возбуждает его восторг и поклонение уже иного свойства, как ценителя всего сильного, каким во-

ображает себя Виталий Петрович Думцев-Сокольский, не без основания прозванный «любимцем публики» шалуньей Мусей за его полные самохвальства рассказы о бывалых и небывалых театральных успехах.

Нынче он, как и все находящееся здесь в зале мужчины, по уши влюблен в шикарную вдовушку, только что так умело продемонстрировавшую пред ними модный танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любит молодой хозяин дома, товарищеским отношением с которым, хотя бы случайным, завязавшимся за бутылкой шампанского, он, Думцев-Сокольский, очень дорожит. Все-таки Анатолий Бонч-Старнаковский, продолжатель древнего аристократического, когда-то польского, теперь вполне обрусевшего, рода – богатый, блестящий офицер одного из лучших кавалерийских полков России, и выступать его конкурентом на поприще достижения благосклонности очаровательной Ланской и неумно, и опасно. Да и незачем это, когда под рукою находится такая прелесть, как Муся! Она будит его, Думцева-Сокольского, уже притуплённое воображение, затрагивает приумолкшие голоса чувственности и приятно волнует его затрепанную в бесчисленных закулисных и светских интригах натуру.

– Прелесть моя! Детка! – шепчет он, еще ближе наклоняясь к поэтичной, с короткими, как у мальчика, кудрями головке. – Прелесть моя, почему вы не желаете провести на практике то, о чем так смело проповедуете? А? – нисколь-

ко не смущаясь присутствием неотлучной Мусиной подружки, тихой, бесцветной Варюши, и уставясь своими бычьими глазами в миниатюрное, неправильное личико, цедит сквозь зубы Думцев-Сокольский. – А, детка?

Девочка поднимает на него карие искрящиеся глазки, и сейчас они мечут пламя.

– Во-первых, не смейте называть меня деткой! Вам уже сто раз говорилось это, – сердито роняет Муся. – А во-вторых, отодвиньтесь. Терпеть не могу, когда мне дышат в лицо табаком.

Она демонстративно выскользнув из-под руки опешившего Сокольского, отбегает в дальний конец сцены, увлекая за собою и свою молчаливую подругу. Отсюда девочки соскакивают на пол и прячутся в глубокой нише окна, за шелковой занавеской. Оно раскрыто настежь, и ветерок слабо колышет занавеску. Невидимые никому из присутствующих в зале подружки могут здесь перемолвиться словом.

– Терпеть его не могу. Противно мне его ухаживание, – все еще сердито говорит Муся. – Когда он руку целует, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась, а вот когда Луговской – ничего, ни чуточки не гадко. А ведь он и некрасивый, и неинтересный, только что играет на рояле хорошо. Вот поди ж ты! Почему это, Варюша? – и пытливые карие глазки так и пронзают взглядом лицо подружки.

– Не знаю, Мусик, право, не знаю. Вероятно потому, что с Луговским ты давно знакома – ведь он бывает у вас в доме

еще со времени своего пребывания в корпусе, а Думцев всем вам чужой, – тихо отвечает бледная девушка.

– Ах, не то, не то! – пылко перебивает ее Муся. – Пойми, я люблю, чтобы за мной ухаживали, люблю видеть себя окруженной мужчинами, люблю будить в них того, знаешь, злого зверька с острыми зубами, который называется мужской страстью, и в их увлечении мною находить успокоение от моей постоянной болезни. Да, да, именно болезни, Варюша. Или ты не знаешь, что я ранена на смерть, что о нем только, о далеком и милом, моя мечта? Его я буду любить вечно. Целые пять лет люблю его, с одиннадцатилетнего возраста. Смешно сказать даже, а это – святая правда. Еще девчонкой я адски втюрилась в него с первого взгляда и с тех пор мечтаю о нем. Ты знаешь, пройдут еще два-три года – и я стану шипеть, как старая дева, или ханжить, как Верочка. Этого нельзя, того нельзя; это неприлично, то не принято. И все оттого, что он не для меня, что он – не мой. Я и теперь часто бываю зла, как кошка. Зина ведь хорошенькая? Правда? И адски шикарна, правда? Но вот послушай, Варюша, совесть ты моя. Ведь ты – моя совесть, Варечка: только тебе одной я всю свою душу выливаю. Да, так вот нынче я нарочно прообесцвеченные волосы Зины брякнула... Не веришь? Ей Богу! Думала, если он меня не любит – мечта моя, сказка моя, греза моя далекая – так пускай же и всех других меньше любят все их поклонники – и Китти, и Зину, и всех... С Зины я и начала. Собственно говоря, что в ней хорошего? Нос туф-

лей, крашенная, рыжая, рот до ушей, однако все вместе адски шикарно и тонко, и пикантно, и...

Муся хмурится, сжимает крошечные кулачки, и скорбный огонек появляется в её глазах.

– Медам и мсье, прошу на сцену. Пора начинать второй акт. Так мы никогда не дотащимся до конца пьесы, – разносится по залу красивый, немного носовой голос «любимца публики», привыкшего к тому, чтобы все им восхищались.

Но его на этот раз никто не слушает. Вдовушка стоит пред креслом Веры и, блестя зеленоватыми глазами и сверкая белыми хищными зубками, говорит, обращаясь к последней, не то искренне, не то шутя:

– Боже мой, Верочка, вот ты опять недовольна мною. Ну, да, да, я знаю... Ты – сама корректность, воплощенная добродетель и понятно опять осуждаешь безумную Зину за то, что она, насмотревшись на всяких Бланш, Жильберток и Маргошек, рискнула перенести их искусство сюда, под сень старинного аристократического дома, и продемонстрировать здесь отчаянное танго, которому место только в злачных, укромных столичных уголках. Непростительное легкомыслие, не правда ли, Верочка?

– Ну, знаете, кузиночка, я думаю, что тени предков, витающие под этой кровлей, весьма и весьма не прочь полюбоваться на такую шикарную исполнительницу-дилетантку, и прабабушки – я уверен в этом – уже устраивают сцену ревности прадедам за их чересчур пылкое увлечение вами нын-

че, – смеется Толя.

– Вы противный и потому молчите. Я говорю с Верочкой, а не с вами. Слышите, Анатоль, молчать! – пухлою ручкой шутиливо ударяет офицера по плечу вдовушка.

– Я умер, – паясничает Толя.

– Ну, Верочка, правду я говорю? – и ласково, по-кошачьи Зина жметса к своей строгой кухне.

Та взглядывает на нее темными, без блеска, глазами.

– Пустяки, Зина!.. Ты же знаешь. Я не люблю только, когда ты выкидываешь свои эксцентричный шутки при девочках. Муся и так преждевременно развита. Мама и Китти уезжая оставили ее на моем попечении.

– И останутся конечно вполне довольны результатами такого покровительства, – снова вмешивается в их беседу Анатолий. – У нашей Веры с пеленок развиты педагогические способности. Она была бы незаменимой воспитательницей в каком-нибудь *couvent*<sup>1</sup> за границей. Вторая сестрица у меня – образец строжайшей дисциплины и соблюдения нравов.

– А ты все шутишь, Анатолий! – и Вера смотрит на брата своими строгими глазами, но они уже полны выражения нескрываемой нежности.

Мгновенно хорошеет её холодное, замкнутое лицо и молодеет сразу под наплывом теплого чувства.

---

<sup>1</sup> Закрытое женское учебное заведение при католических женских монастырях, куда обычно, до закона о закрытии монастырей, французская аристократия отдавала на воспитание своих дочерей. (*фр.*)

Все они три – она, Муся и отсутствующая старшая сестра Китти – горячо привязаны к своему единственному брату, весельчаку, кутиле и милому ветренику Толе. Красавица-Китти прозвала брата «Фру-фру», и, это прозвище как нельзя больше подходит к юноше. Веселый, всегда ровный, общительный, рубаха-парень, что называется, и доброты необычайной, Анатолий Владимирович Бонч-Старнаковский слывет не только любимцем своей семьи, но и своего полка, и того кружка, в котором он вращается. Но больше, чем кто-либо другой, его любят мать, отец и сестры. И, глядя на брата и отвечая ему, даже холодная Вера находит в себе те изумительно не подходящие к её типу теплоту и нежность, которые сейчас бросают краски в её смуглые щеки и зажигают лаской её строгие, молчаливые глаза.

– Господа! Еще раз призываю вас всех к порядку, – надрыгается «любимец публики». – Я начинаю репетицию и прошу вас молчать, – и он отчаянно звонит в колокольчик.

– А где же остальные исполнители? Где Маргарита Федоровна? Где «Попугайчики»? Где Рудольф? – пулей вылетая из-за шелковой занавески, кричит Муся.

– Они подойдут к своей сцене. «Попугайчики» дали слово быть непременно.

– А Рудольф?

– Я здесь.

Все взоры обращаются к двери.

На пороге зала стоит высокая, плечистая, с военной вы-

правкой, фигура молодого человека. На нем прекрасно сшитый штатский костюм, подчеркивающей эту безукоризненную фигуру. Крупная, тщательно причесанная на пробор белокурая голова, подстриженные рыжевато-белокурые усы, холодные, немного выпуклые, цвета стали, глаза, смотрящие как-то уж слишком прямо и напряженно, и яркий малиновый рот с большими белыми зубами, обнаженными сейчас в улыбке.

– Я здесь... Аккуратен, как видите, – говорить вновь прибывший, как-то странно, точно не по-русски, выговаривая слова и все еще улыбаясь одними губами, тогда как глаза продолжают оставаться серьезными.

– Ага! Мсье Штейнберг! Отлично! Прыгайте сюда к нам, и начинаем репетицию. Живо! – командует «любимец публики», издали театральным жестом приветствуя вновь пришедшего.

Рудольф Карл Август фон Штейнберг – сын Августа Карловича Штейнберга, старого управляющего Отрадным, именем Бонч-Старнаковских, – красивой и легкой походкой переходить зал и так же легко и красиво, минуя лесенку, ведущую на подмости, поднимается туда, ухватившись руками за доски пола и напрягая и без того сильные мускулы.

– Адски ловко! Bravo, Рудольф, bravo! – кричит в восторге Муся и хлопает в ладоши.

– Что и говорить!.. Скульптура! – улыбается Толя.

– Мсье Рудольф, сколько пудов вы выжимаете одной ру-

кой? – кокетливо стрельнув в его сторону чуть подтушеванными глазками, осведомляется Зина.

– Рудольф, берегись! Еще одно слово кухни в твою пользу – и готовь маузеры. Двадцать шагов расстояния, завтра, на восходе солнца, за садом. Луговской – мой секундант; твой – «любимец публики», – и Анатолий делает трагическое лицо.

– Ай, как страшно! Молчите, молчите! Я не выношу крови! – хохочет Зина.

За нею смеются остальные. Уж очень забавен Анатолий со своими вращающимися во все стороны глазами и рыкающим голосом.

Одна Вера остается серьезной. С минуты появления Рудольфа Штейнберга здесь, на пороге белого зала, что-то странное происходит с девушкой. Её черные глаза ярко загораются, тонкое лицо вспыхивает темным румянцем смуглянки, и Вера Бонч-Старнаковская в этот миг становится настоящей красавицей.

## Глава II

Вот уже вторую неделю репетируется здесь, в большом белом зале Отрадного, исполнителями-дилетантами чудесная, полная скрытого трагизма и внешне обвеянная голубыми крыльями поэзии, популярнейшая пьеса Чехова «Вишневый сад». Предстоящий спектакль является подарком младших членов семьи её старшему представителю и главе, Владимиру Павловичу Бонч-Старнаковскому, очень крупному чиновнику дипломатического мира и помещику, владельцу одного из прекраснейших имений Западного края, расположенного неподалеку от прусской границы.

Семья Бонч-Старнаковских, благодаря службе и положению самого Владимира Павловича, принуждена вести открытую жизнь в Петербурге. Дом тайного советника Бонч-Старнаковского поставлен на широкую ногу. Высшие петербургские кружки общества считают необходимостью бывать у Старнаковских на их четвергах. Их ложу знают все посетители первого абонементов Императорской оперы. На *concerts huppés*<sup>2</sup> отличаются в обществе брата и его товарищей по оружию обе старшие барышни: и красавица Китти, и вторая смуглая, похожая на монахиню, Вера. Младшая, Муся, еще учится в одном из фешенебельных институтов столицы.

---

<sup>2</sup> Состязания в верховой езде, устраиваемые обычно в Великом посту в Михайловском манеже, в Петербурге.

Всюду, на всех аристократических балах появляются старшие барышни Бонч-Старнаковские; их знает весь высший свет Петербурга.

Семья Бонч-Старнаковских является последней представительницей старинного польского аристократического, теперь давно уже обрусевшего, рода. Когда-то предки Бонч-Старнаковских гремели на весь Западный край и во времена свободной Польши являлись маленькими царьками-магнатами.

Увы! От всего прежнего магнатства предков потомкам остались теперь лишь одно славное имя да большое имение в сердце Польши.

Это имение, сданное на полное попечение честнейшего в мире немца, Августа Карловича Штейнберга, ежегодно и очень охотно в летнее время посещалось, несмотря на далекое расстояние от столицы, его владельцами.

Сам Владимир Павлович Бонч-Старнаковский приезжал сюда погостить на какие-нибудь две-три недели, чтобы отдохнуть на лоне деревенской природы; но это случалось тогда, когда ему не представлялась хотя бы малейшая возможность ехать за границу, где он от времени до времени лечил расшатанную нервную систему. Его супруга, Марья Дмитриевна («генеральша», в устах прислуг, постольку, поскольку и сам он, тайный советник, являлся Для них «генералом»), ежегодно лечила в Карлсбаде свои больные почки. Муж обыкновенно провожал ее туда и ехал дальше. Но в это

лето совместная поездка не удалась; дела удержали «генерала» в Петербурге, и Марья Дмитриевна принуждена была ехать в Карлсбад со старшей дочерью, красавицей Китти, и её женихом, Борисом Мансуровыми, молодым, но уже подающим надежды, чиновником.

Несмотря на отсутствие трех членов семьи, в Отрадном было исключительно весело в это лето. Главе семейства удалось нынче вырваться на несколько дней из душной, столицы в старое родовое гнездо. Удалось и его сыну Анатолию урваться на короткое время из лагеря со своим другом, Никсом Луговским, и прилететь в милое Отрадное, где с самого начала лета жили его сестры, Вера и Муся, гостили очаровательная вдовушка, их кузина Ланская, и подруга Муси, Варя Карташова. Старый прадедовский палаццо дрожал от взрывов молодого, часто беспричинного смеха, от громких, радостных голосов, звуков музыки и хорового пения.

Весь этот дом со своим двухсветным, перерезанным большими колоннами, залом, со своими хорами и старинными диванами эффектно дисгармонировал с молодым, резвым и веселым обществом, собравшимся в нем. А оно чувствовало себя прекрасно и в белом зале с колоннами, и в портретной галерее, и в бильярдной, словом, во всем этом прадедовском гнезде, где, казалось, в темные загадочный ночи еще витали тени умерших предков. В густых, тенистых аллеях сада с его бесчисленными затеями, с его классическими статуями, гротами и воздушными кружевными беседками, по-

висшими над старым прудом, – в этом густом, тенистом саду все еще дышало таинственной прелестью старой родовой саги. Она рассказывала о милом былом, ткала чудесные узоры вымысла, переплетенные с былью, о гордых паннах и паненках со жгучими очами и о блестящих рыцарях Свободной Польши, носившихся в лихой мазурке и удалом краковяке и умевших не одними только боевыми подвигами завоевывать себе благосклонность кокетливых красавиц.

Увы! Времена прекрасных рыцарей и гордых паненок давно миновали, и наглядным воспоминанием о минувшем являлись только старые портреты в полу облупившихся золоченых рамах на стенах современной портретной галереи.

Впрочем и все Отрадное уже не представляло собою прежнего маленького царства польских магнатов, вельмож старого времени. Оно значительно сократилось в своих размерах, не имело тысяч даровых работников, руки которых являлись бесконечным источником золота для беспечных панов-хозяев. Однако оно все же было очень доходно. Немец-управляющий сумел на свой лад культивировать обрусевшее поместье, и – надо отдать ему полную справедливость – ввел здесь образцовый порядок. В сравнительно недолгий срок под его ловкими руками возродилось запущенное было поместье. Теплицы и оранжереи наполнились плодами, овощами, цветами; из-за границы были выписаны редкие породы роз, любимых цветов «генеральши»; сильные, сытые рабочие лошади и породистые грациозные кони

под верх и запряжку красовались в тщательно отремонтированных конюшнях; рогатый скот не оставлял желать ничего лучшего. Не менее успешно шли и огородничество, плодоводство, и – главное – полевое хозяйство. Пять тысяч десятин, оставшихся потомкам былых магнатов, давали довольно крупную цифру дохода нынешним владельцам. Словом, Отрадное вполне оправдывало свое назначение, и притомившиеся в зимний сезон Бонч-Старнаковские могли с успехом отдохнуть в летние месяцы на лоне природы.

## Глава III

Ночь – душистая, трепетная, ароматная. Кажется, будто темная, душистая влага, пролитая из незримого, фиала-колосса, опрокинувшегося над землей, так и застыла в воздухе, полном таинственных, непроницаемых, опьяняющих чар, нежащей, знойной мглы, заставляющей мечтать о серебряной сказке месяца, о золотых огнях высокого неба – гордых и ласковых звездах.

Но сегодня черная бархатная мгла ревнива. Она грозно стережет непроницаемость своего мягкого покрывала – ни месяца, ни звезд, ни серебряной, ни золотой сказки.

Нашумевшись, накричавшись и наспорившись вдоволь, молодежь разошлась после ужина по своим комнатам.

Чернота ночи и знойная духота её помешали прогулке. На завтра решено было подняться пораньше, чтобы репетировать, репетировать и репетировать без конца. Спектакль, приноровленный ко дню рождения главы семейства, был не за горами. После него должна была разъехаться вся мужская половина общества: сам старый хозяин дома, Толя, Никс Луговской и «любимец публики».

Последний весь отдался сейчас постановке спектакля. Он мастерски распределил роли: сам взял себе благодарную, трудную и красивую роль стареющего кутилы-барина, разорившегося помещика Гаева, ту, которую так неподражаемо

вел на образцовой сцене покойный Далматов; его сестру, кокетливую, обаятельную, чуждую предрассудков, легкомысленную барыньку, играла Зина Ланская; её дочь, прелестного, поэтичного ребенка Аню, – Муся. Варя должна была изображать горничную Дуняшу, типичную вскормленницу господ. Роль Вари, старой и спокойной приемной дочери Раевской, поручили Вере, великолепно подходившей к её типу, роль же гувернантки Ани – Шарлотты Ивановны – репетировала экономка Маргарита Федоровна, старая дева, ненавистница мужчин, крикливое и несноснейшее в мире существо. Бесподобен был уже и теперь, на репетициях, лакей Яша в исполнении Толи; Трофимова играл сын священника Вознесенский, студент духовной академии, а Лопахина – жесткого, молодого, но «из ранних», купца-кулака, скупившего Вишневым сад у бывших господ своего отца-крепостного, – Рудольф Штейнберг. Комическую роль управляющего взял на себя Никс Луговской; роль лакея Фирса поручили другому студенту, товарищу Ванечки Вознесенского, Петру Петровичу, носившему крайне комическую фамилию Кружка. Оба юноши, за неимением других исполнителей приглашенные в аристократический кружок богатых помещиков, чувствовали себя здесь не в своей тарелке, ужасно стеснялись, краснели, потели, держались безотлучно один подле другого и оба с самого начала репетиций в одинаковой мере и силе влюбились в Мусю. Она от души смеялась над ними и за глаза постоянно называла их «Попугайчиками».

Весь старый палаццо погружен в глубокий сон, и только в одном окне его виден приветливый огонек свечи. Вера Бонч-Старнаковская еще не ложилась; она сидит пред зеркалом и, машинально глядя в его шлифованное стекло, заплетает в толстую косу на ночь свои пышные, длинные, черные, как притаившаяся за окном ночь, волосы. Эти волосы – единственное богатство внешности Веры; они примиряют их обладательницу с остальными недочетами её: с безжизненным, никогда не отличающимся свежестью, старообразным лицом, с сухою, костлявою, слишком прямою фигурой, с мрачными, суровыми глазами и строго сжатыми губами.

Вера доплетает косу, но её чуткое ухо ловить малейший звук в саду...

Даже глаза как будто прислушиваются; они темные, обычно спокойные – теперь как-то тревожны, напряжены.

«Неужели не придет? Неужели что-нибудь помешает? Неужели, как и в прошлую ночь, помешает опять?» – проносится в её голове, и нервно, сильно, до боли сильно бьется в груди мятежное сердце.

Все обычное спокойствие изменяет девушке; она то и дело отводит глаза от зеркала и бросает взгляд в бархатную мглу ночи.

Что это? Кажется, огонек? Ну, да, это – он, его огонек, его сигара. Или нет... Она ошиблась снова – не он...

«Ты – сама воплощенная добродетель!» – слышится Вере откуда-то издали звонкий голос Зины Ланской, и она багро-

во краснеет. Это она-то – добродетель, Вера Бонч-Старнаковская, как преступница, выжидающая каждую ночь позднего ночного часа, чтобы урывком, мельком перекинуться словом с тем, кого она любить пламенно и бурно, со всею страстностью и силой своего рода, в жилы которого влита лава, а не кровь? Недаром она худеет, недаром темные круги замыкают кольцами её суровые глаза. Которую уже ночь она не спит, ожидая, когда все утихнет и успокоится в доме, а там бесконечные беседы с любимым вплоть до рассвета, до первых предрассветных сумерек утра.

О, какая мука и какое блаженство – эти их ночи, о которых никто и никогда не узнает, не должен знать! Это – их тайна, их счастье. Она, Вера, не крадет этого счастья ни у кого. Она свободна. Неужели она не имеет права хотя бы на крупицу такого счастья, каким пользуется её сестра Китти, уже ставшая невестой любимого человека? Или оттого только не имеет, что она некрасива? Вздор какой! При чем тут красота? Он любить ее такую, какая она есть, а она, она...

Вера, едва не задохнувшись, спешит к окну, смотрит с минуту и чуть не вскрикивает от радости: огонек светится теперь совсем близко от её окна.

– Вы? – шепчет она так звонко, что этот шепот достигает до ушей того, кто, окутанный мглою, притаился под её окошком.

На мгновение ярче вспыхивает огонек и, описав искрящийся вольт, совсем исчезает из вида. Из темноты ночи на

площадку перед домом, чуть освещенную огнем свечи, горящей в комнате Веры, выступает рослая, сильная фигура.

– Вы? – еще раз почему-то спрашивает Вера, хотя отлично водить, что это – он, тот, к кому стремится её сердце, кого зовет неустанным зовом душа.

– Фрейлейн Вера, как вы неосторожны! Эта свеча... Могут увидеть, и тогда... – чуть слышно звучит заглушённый мужской голос.

– О, я ничего не боюсь! Я вас люблю, вы же видите. Я люблю вас безумно, Рудольф, и пойду для вас на все, – со страстью и силой вырывается из груди девушки.

– Дорогая фрейлейн Вера! – странно закругляя своей особенной манерой фразы, отвечает Штейнберг, – вы же знаете, что я сам люблю вас больше жизни. Вы же знаете это. Я каждое мгновение готовь пожертвовать собою для вас, ради вашего спокойствия и счастья, охотно дам выпустить каплю за каплей всю кровь из моих вен, милая девушка. Но пока, вы же знаете, я должен молчать о своей любви. Кто вы и кто я? – подумайте сами, фрейлейн Вера! Вы – Бонч-Старнаковская, красавица, богачка, представительница старинного рода, я же – маленький офицер прусского гарнизона, ничтожный, маленький армейский офицер, живущий на пару жалких сотен марок в месяц. Что я могу предложить вам взамен того, что вы потеряете, став моей женой? Да и господин советник не позволит вам этого. Он не допустит такой ничтожной партии для своей дочери. Сын его управляющего,

почти слуги, и вы, Фрейлейн Вера!

– О, молчите, молчите, Рудольф! Вы рвете мне сердце... Я не могу слышать это. Папа – не зверь. Он всех нас горячо любить, и наше счастье для него дороже всего.

– Mein süßes Kind!..<sup>3</sup> Моя бесценная фрейлейн! Вера! Вы – ангел мой, отрада и счастье всей моей жизни, и, когда вы так говорите, все мои страхи и колебания испаряются, исчезают, и я, видя вашу любовь, готовь идти за все. Да, ждать дольше трудно. Я выберу удачный момент и буду просить вашей руки, моя бесценная, моя золотая красавица. В то же время я буду добиваться карьеры. Я кончил курс академии и теперь уже служу в штабе, а там открытый путь дальше. Вы же, моя добрая волшебница, надеюсь, поддержите меня, вы...

– Я люблю вас, Рудольф, люблю безумно, – шепчет в экстазе девушка.

Свеча давно погашена предупредительной рукой Веры. Теперь она полулежит на подоконнике, и голова её с полураспущенной косой покоится на плече Рудольфа. Его высокий рост дает ему возможность, стоя в саду по ту сторону окна, держать ее так в своих объятиях. Он не видит её лица в темноте ночи, но ощущает горячий огонь её щек; они пышут жаром, и её сердце под его рукой сильно-сильно бьется. Он осторожно прижимает к своей груди тонкий, худощавый стан девушки и, склонившись близко-близко к её лицу, ско-

---

<sup>3</sup> Мое милое дитя.(нем.)

рее угадываемому, нежели видимому в совершенном мраке, спрашивает заискивающим голосом:

– Фрейлейн Вера, бесконечно любимая и дорогая фрейлейн Вера, хорошо ли вам? Счастливы ли вы так со мной?

Вся кровь бросается девушке в лицо от этого шепота, от знакомого запаха сигары, которым пропитано дыхание любимого человека. Вера вся вздрагивает. Внезапно бессвязная, почти досадная мысль огненным вихрем и болью пронизывает её мозг:

«Зачем он так робок, так приниженно почтителен со мною, он, мой король, руки которого я готова целовать! Ах, если бы я была не Верой Бонч-Старнаковской, а какой-нибудь маленькой Амальхен или Кларой, которую он не побоится бы ласкать и целовать!»

Тело Веры бессознательно тянется к ласке Рудольфа; её губы горят, томясь по его поцелуям, и, не владея собой, вся зажженная его раздражающей близостью, она шепчет:

– Целуй меня, Рудольф!.. Целуй же меня!

Но он не смеет и теперь коснуться её лица губами. Он только нежно и почтительно подносит к ним её руку, и горячие, пламенные, но все-таки почтительно-робкие поцелуи покрывают тонкие, дрожащие пальцы Веры.

## Глава IV

С высоко поднятой головой, с горделивым сознанием одержанной победы возвращается черными, непроницаемыми под бархатной мглой ночи аллеями Рудольф фон Штейнберг. Ему есть отчего радоваться и торжествовать: то, к чему он стремился, то, о чем он только мечтал в своих робких, сокровенных грезах, – наконец случилось, и случилось гораздо скорее, чем он этого ожидал.

Кому он обязан всем происшедшим? Бурному ли темпераменту фрейлейн Веры, унаследованному ею от бабушки (он кое-что слышал о покойной старухе), или своим личным достоинствам, достоинствам неотразимого Рудольфа Августа Штейнберга?

Сейчас он улыбается в непроницаемой темноте довольной улыбкой и осторожно поглаживает рукою кончики коротко подстриженных, выхоленных усов. Он, всегда одержанный и спокойный, сейчас готов прыгать и скакать, как мальчишка. Первое дело прошло отлично; теперь бы провести второе, а там...

«О Рудольф Штейнберг! Если вы будете продолжать к том же роде, – то далеко пойдете вперед!»

Только месяц тому назад он приехал снова сюда, в это тихое, уютное Отрадное, и сколько перемен, сколько счастливых изменений и прекрасных случайностей принес ему этот

месяц! Сначала он даже не замечал пробужденного им в душе всегда молчаливой и спокойной Веры чувства к нему, такого вулканического и бурного. Глубина и вулканизм, эти два редко совмещаемые понятия в любви, сейчас сочетались превосходно. Страсть к нему Веры он стал замечать только с первых репетиций их любительского спектакля, когда её черные без малейшего блеска глаза останавливались на его лице с каким-то странным и острым упорством. Она по пьесе должна была играть влюбленную в него девушку, и он думал сначала, что Вера умышленно настроила себя в этом направлении, слишком вошла в свою роль. Но мало-помалу он проник в истинный смысл её отношений к нему и при всей своей сдержанности и характерном тевтонском хладнокровии чуть не сошел с ума от восторга.

Правда, судьба сыграла с ним злую шутку: вместо красавицы Китти, о которой он сладостно и пламенно мечтал еще с отроческих лет, или свеженького бутона Муси. он заполучит эту сухую, некрасивую, черную, как цыганка, и неженственную Веру.

Но ведь выбирать не приходится, когда само счастье лезет в руки. Все же он будет зятем старого дипломата, так или иначе проникнет в жизнь чиновного, министерского человека, и при этой близости будет много легче и удобнее привести в исполнение задуманный им план. А тогда его карьера обеспечена.

Он уже видит отсюда, как ярко впереди загорается его

счастливая звезда. Он – пруссак до кончика ногтей и все славаство для него – «племя париев, стадо свиней, проклятых собак», ставших поперек горла его славному народу. Но родина родиной, а услугу он станет оказывать ей не только из-за своих патриотических чувств. Конечно, не мешало бы в двадцать шесть лет полупить подполковничьи эполеты. А если ему удастся довести до конца то, что он приводит медленно к осуществлению весь этот месяц, отправляясь прямо с любовных свиданий, не отдохнув ни капли, на свои экскурсии – о! тогда обеспечены и подполковничьи эполеты, и прекрасное положение при штабе.

И тогда посмотрим еще, чем молодой полковник фон Штейнберг уступить какому-нибудь мальчишке молокососу Анатолию Бонч-Старнаковскому и всем ему присным. И тогда, прекрасная Китти, вам уже не придется выказывать такое презрение сыну вашего управляющего, которым вы заклеили его шесть лет тому назад.

Мысль, принесшая в его мозг это воспоминание, заставляет Рудольфа снова задрожать всем телом. Опять, как утопленник на поверхность пруда, всплыло это воспоминание, этот давно прошедший и по-видимому канувший в лету забвения случай. С поразительной ясностью, до мельчайших деталей вспоминает сейчас Рудольф все, все из того, что произошло тогда.

Жаркое польское утро. Знойное солнце и лениво дремлющий пруд среди чащи тенистого помещичьего сада. Ни

души в саду. В эту чашу никто не заглядывает по утрам. Только он, Рудольф, готовившийся тогда к последним испытаниям своей военной коллегии, пред своим производством в офицеры, с учебником фортификации в руках забрался в самую непролазную гущу сада. Плеск воды внезапно привлек его внимание. Он раздвинул ближайšie ветки, вытянул шею и, выгляну в из своей зеленой засады, едва не вскрикнул от восторга и неожиданности, смешанной с каким-то благоговейным ужасом. Совершенно нагая, придерживая одной рукой простыню, волочившуюся за нею, прекрасная и нежная, как мраморная античная статуя, осторожно входила в пруд красавица Китти, старшая из барышень Бонч-Старнаковских. Юное, гибкое девичье тело, маленькие, упругие груди, ослепительная кожа и очаровательное, с темными быстрыми, сверкающими, как черные алмазы, глазами личико, обрамленное золотисто-белокурыми волосами, – все это, вместе взятое, свело Рудольфа с ума. Кровь ударила ему в голову, в глазах поплыли кровавые круги, однако и сквозь них он продолжал видеть и молочно-белую кожу блондинки, изящные, словно из слоновой кости выточенные, ручки и ножки прелестной девушки. Красота, великолепие этого чудного, без единого дефекта, обнаженного тела, о котором он и прежде робко мечтал, кусая угол подушки в бесконечные бессонные ночи, теперь угарным шумом наполнили ему голову; кипучей, огненной лавой забродило непреодолимое желание у него по жилам, и, не помня себя,

обезумев от страсти, юноша выпрыгнул из кустов и рванулся к Китти. Прежде чем она успела крикнуть и оттолкнуть его, он обвинил трясущимися руками это дивное тело и прильнул к нему губами.

Только звонкая пощечина привела тогда его в чувство; он опомнился лишь под ударом маленькой ручки.

Теперь Китти стояла пред ним негодующая, возмущенная, как богиня гнева, и еще более чем когда-либо соблазнительная и прекрасная в этот миг. Дрожа всем телом, кутаясь в свою длинную простыню, она бросила ему сдавленным от волнения голосом:

– Негодяй! Ничтожный мальчишка! И ты осмелился! Ты осмелился, ничтожная тварь! Или забыл, кто – ты и кто – я?

Затем произошло нечто кошмарное. Он, Рудольф, ползал в ногах и молча вымаливал прощение. Он униженно молил Китти не жаловаться «его превосходительству господину советнику», не сообщать о его безумном поступке и его отцу, а предать этот поступок забвению. Он оправдывал его своей молодостью, необузданным темпераментом, пылом и наконец, тем, что она, фрейлейн Китти, так прекрасна, так непостижимо, божественно прекрасна, что он не мог устоять при виде её красоты.

Но Китти, сгорая от стыда и страха, плохо слушала то, что он лепетал. Она по-прежнему с горящими негодованием глазами мерила его уничтожающим взглядом и только время от времени повторяла взволнованным, звенящим, как натяну-

тая струна, голосом:

– Я – Бонч-Старнаковская, а ты, ты кто? Сын слуги моего отца! На что же ты рассчитывал однако, на что, несчастный?

О, он не решался тогда сказать ей, что ровно ни на что не рассчитывал, что просто влюблен в нее без памяти, что её несравненная красота, как шампанское, ударило ему в голову! И, когда она прогнала его, он ушел, опозоренный, униженный и прибитый, но с сердцем, закаменевшим в сознании своего права любви и восхищения пред её красотой, с распаленной от обиды душою и жаждою мести.

Китти почему-то так и не пожаловалась ни своему отцу, ни Августу Карловичу на его необузданного сына, и ни один из них двоих так и не узнал об этой сцене, разыгравшейся на берегу пруда. Только долго потом она презрительно отворачивалась от Рудольфа при встречах и продолжала демонстративно говорить ему «ты», хотя до этого злосчастного утра называла его на «вы» и Рудей.

Не забыл и Рудольф оскорбления, полученного им от разгневанной девушки. Мстительное чувство и обида вытеснили у него из сердца прежнее увлечение Китти, и оно перешло в не менее острую ненависть к ней. Но этот инцидент, происшедший между ними, привел к тому, что он поставил себе заветом так или иначе добиться положения, карьеры, богатства, чтобы стать па одну ступень с этими надменными барями, с этой зазнавшейся девчонкой, а там...

О том, что могло быть дальше, Рудольф не думал. Он знал

лишь ближайшие цели своей борьбы. И, когда неожиданно и бурно в его жизнь ворвалась любовь к нему Веры, той самой Веры, с которой он еще в детстве бегал, играя в лошадки, Рудольф Штейнберг обрадовался без конца. Его задача теперь значительно упрощалась: будучи мужем дочери крупной чиновной единицы, к тому же богатой, он достигнет скорее и легче тех высот, к которым тянется вся его тщеславная душа.

## Глава V

- У тебя все готово, Фриц?
- Так точно, господин лейтенант.
- Краги? Хлыст? Отлично! Ты оседлал Зарницу, надеюсь?
- Так точно, Зарницу, господин лейтенант.
- А отец еще не проснулся?
- Нет еще. Господин управляющий поднимается с солнцем, а сейчас еще далеко до него.

Солнца действительно еще нет на далеком небе, и в природе царить тот бледный сумрак утра пред восходом, когда земля, еще насыщенная сном, истомно нежится в предчувствии знойной ласки солнца. Однако уже ощущаются шорох и трепыхание в кустах птишек, почуявших утро, а на горизонте намечается заря, алой лентой опоясывающая часть неба.

Зарница, любимейшая кобыла Рудольфа из всех лошадей конюшни Бонч-Старнаковских, роет от нетерпения копытами землю и тихо, радостно ржет. Каждое утро денщик Фриц, приехавший в отпуск из Пруссии со своим барином, седлает Зарницу еще задолго до восхода солнца для «господина лейтенанта», и всадник, лошадь после нескольких часов отсутствия благополучно возвращаются только к завтраку домой. И так каждый день, когда только нет дождя и ненастья.

Сам Рудольф не сомкнул глаз в эту ночь, однако не чув-

ствует ни тяжести, ни усталости. Только огромные синяки под глазами свидетельствуют о бессонной ночи. Он успел уже, вернувшись от Веры, окунуться с головой в ванне, выпил чашку горячего чая, приготовленного ему Фрицем, и теперь чувствует себя свежим и бодрым, как никогда.

«Алло, Рудольф! В путь смелее!» – выкрикивает в нем избыток сил и энергии, и он пускает с места в карьер быстроногую Зарницу.

Рудольф выехал из усадьбы, миновал парк, окружающий Отрадное, и углубился в поля. Море хлебов окружает теперь коня и всадника; вкусно и пряно пахнет свежая еще от ночных рос и предутренних седых туманов земля. А влево темнеет лесок, и за ним вьется широкой лентой проезжая шоссе-сёйная дорога. Она ведет к крепости.

Рудольф дает шпоры Зарнице и вихрем мчится по направлению дороги, убегающей вдаль. К седлу за спиной у него прикреплен небольшой ящик – крошечный аппарат, неизбежная принадлежность каждого фотографа-любителя. Разве не естественно, что он любить природу, её ни с чем несравнимые красоты, которые он считает положительно грехом не занести на пластинку? А тут, вокруг Отрадного, эта природа так богата видами! Эти поля, сверкающие золотом колосьев, эта змеящаяся между ними дорога и, словно игрушечная издали, но мощная и хорошо защищенная естественными преградами, крепость.

Рудольф едет сейчас межою, параллельно дороге, време-

нами приостанавливается, щелкает аппаратом, а потом что-то отмечает на страницах записной книжки. Вот он въехал в небольшой лесок. Здесь, притаившись близ лесного болотца, незаметная для взоров прохожих, чуть светлеет маленькая избенка, «охотничий дом», как они с Фрицем называют между собою это здание. Еще только четыре недели тому назад здесь было гладкое место, были заросли жимолости, папоротника и крапивы, а теперь, словно гриб, вырос этот сруб. Это Рудольф и Фриц собственноручно сработали его.

Рудольф соскакивает на землю, привязывает Зарницу на длинном поводу к дереву и, открыв американским ключом дверь, входит в избенку. Внутренность её убога: столяр, два табурета, походная постель в углу, наброшенная на простые, грубо сколоченные козла. Закрыв дверь за собою, Штейнберг быстро сдвигает эти козла с места. Под ними две половицы, плотно пригнанный одна к другой. Рудольф вытаскивает из бокового кармана небольшой нож-стилет и, воткнув его в одну из досок, приподнимает ее. Под доскою оказывается глубокая яма, конусом уходящая вниз. Оттуда несет сыростью и землей. Штейнберг засучивает рукава своего модного, изысканного пиджака и, стоя на коленях пред ямой, запускает в нее руку. Тихий, легкий шорох бумаги – и на свет Божий извлекаются один за другим несколько свернутых в трубку листов, ящик с готовальней, линейка и масштаб. В маленькое окошко, прорезанное под самой крышей, слабо проникает бледный свет довосходного утра, но его слишком

достаточно для того, чтобы Рудольф мог, разложив на некрашеном полу бумаги и планы, занести на них то, что он успел при помощи фотографических снимков, проявленных еще накануне, почерпнуть среди окружающей его местности. Вот холм, находящийся в двух верстах от болотца, ближайшего к цитадели, вот крошечная польская деревушка по эту сторону леса, а вот дальний помещичий фольварк. Все они, в виде раз установленных им знаков, находят свое место на плане.

Солнце с его брызжущим ало-золотым заревом застаёт Рудольфа еще за работой. Теперь внутри крошечной избушки все словно смеется и ликует в лучах пробудившегося светила. Досадливо щурясь, Штейнберг сворачивает бумаги и, положив их снова в отверстие под половицей, сдвигает доски и приводит в прежнее положение постель. Потом он завешивает оконце непроницаемым черным покрывалом и начинает проявлять сегодняшние снимки, то и дело прислушиваясь к мерным шагам Зарницы, мирно пощипывающей траву. Быстро, легко и ловко исполнена и эта работа. Теперь только Рудольф чувствует, что он немного устал. Но это не важно – у него целый день впереди в запасе, до ужина он может спать, как убитый. Главное, он счастлив и доволен тем, что ему удалось использовать и это утро, как и все предыдущие дни.

За ужином старый Штейнберг говорить, как всегда, по-немецки сыну:

– Послушай, Рудольф, тебя видели рабочие под окном старшей барышни нынче ночью. Что ты делал там?

Серые глаза не мигая останавливают спокойный и обычно пристальный взгляд на старом лице отца, на этом добродушно-серьезном лице истого немца, с синеватыми жилками на крупном, широком носу, с красными, налитыми здоровой кровью щеками, с сивыми усами над твердым ртом.

Рудольф – любимец и гордость отца. В то время Как старшие сыновья Августа Карловича: один – аптекарь в Шарлоттенбурге, предместье Берлина, другой – инженер-технолог в Дрездене – ничем особенным не зарекомендовали себя, – красавец и умница Рудольф сумел уже много сделать для своей карьеры. В двадцать шесть лет он уже на виду у начальства, как молодой офицер генерального штаба. Ему дано уже какое-то ответственное тайное поручение, о котором он не заикается даже старому отцу. И при этом его внешность, его лоск и утонченные манеры. Будто он – не сын простого бюргера, пришедшего заработать себе честным образом хлеб под это чужое небо, а переодетый барон, – так умеет держать себя этот мальчик.

Даже то обстоятельство, что Рудольфа видели ночью ра-

бочие под окном фрейлейн Веры, не сулит ничего страшного Августу Карловичу. Он слишком уверен в благоразумии сына, слишком убежден в его такте и ловкости. И сейчас он смотрит на него с явными признаками одобрения и сочувствия.

Каков красавчик! И кто бы мог сказать, что у него будет такой блестящий сын! Жаль, что рано сошла в могилу его мать-старуха! Вот поумилялась бы душой на своего маленького Рудольфа, на своего последыша Вениамина, в котором она не чаяла души.

А он, этот самый Рудольф, этот любимец и гордость семьи, смотрит в самые зрачки отцу пристально и почти строго и говорить голосом, не допускающим возражение:

– Приготовься услышать нечто важное, старина, настолько важное, что должно бесспорно изменить весь текущий строй нашей жизни. Фрейлейн Вера, дочь твоего патрона, Вера Бонч-Старнаковская, любит меня и желает, чтобы я в самом недалеком будущем стал её мужем.

Казалось, разверзшиеся небеса и расступившаяся земля, открывшая недра земного шара, не могли бы поразить большею неожиданностью старого Штейнберга, нежели поразило его это признание сына. Он поперхнулся куском ростбифа и выронил из руки вилку при первых же словах Рудольфа. Багровый от волнения, радости, смущения и неожиданности, он привстал со своего места и потянулся через стол к сидящему напротив него молодому человеку

– А господин советник? Что скажет на все это господин советник, Рудольф, мой мальчик? – скорее угадал, нежели расслышал, мгновенно охрипший и прерывистый от волнения голос отца молодой Штейнберг.

– Успокойся, старик! Ты меня не понял. Конечно я женоюсь не на господине советнике, а на его второй дочери, фрейлейн Вере, которая положительно обезумела от любви ко мне. Ей уже двадцать два года, у неё свое собственное, самостоятельное приданое, завещанное ей бабушкой, и она может, кого желает, признать избранником своего сердца.

– Но... но...

– Не бойся, отец! Господину советнику останется только согласиться. У фрейлейн Веры темперамент её бабушки, сбежавшей из дома с польским гусаром. Бонч-Старнаковские – бары, настоящие русские бары, которые свою репутацию ставят и ценят выше всего. Если теперь ты слышал от рабочих о моих ночных свиданиях с фрейлейн Верой, то конечно о них постараются довести и до сведения господина советника. А ты знаешь, отец, что иногда брак является избавлением от величайшего несчастья, в роде запятнанной репутации молодой девушки. Гм... Что ты скажешь на это, отец?

Что же мог еще сказать на все это старый, ничтожный Штейнберг своему умному, находчивому и гениальному сыну? Нет, никакие слова положительно не шли сейчас на уста почтенного Августа Карловича, и все, что он мог сделать, –

это отбросить в сторону салфетку, предварительно насухо вытерши ею пропитанные пивной пеной усы и, широко раскрыв свои родительские объятия, заключить в них своего гениального сына.

## Глава VI

– Я это или не я? Боже мой, до чего меняет грим лицо, Варя! Только вот глаза не выходят. Варюша, у тебя хорошо вышли глаза? Счастливица! Ты адски хорошенькая нынче. А я не могу справиться. Позови «любимца публики» ради Бога! Виталий Петрович! Виталий Петрович! Поди сюда, голубчик, сделайте мне глаза! – кричит Муся, просовывая в дверь уборной свою маленькую, всегда поэтично растрепанную головку.

– Сейчас! Лечу... Бегу, – и Думцев-Сокольский уже совсем готовый к своему выходу и дававший последние инструкции театральным плотникам, выписанным вместе с декорациями и оркестром музыки из соседнего города, где подвизалась в зимнее время профессиональная труппа, спешит в биллиардную, примыкающую к залу и превращенную на этот вечер в дамскую уборную.

– Можно? – стучит он пальцем в дверь огромной комнаты.

– Входите, голубчик, входите!

Голосок Муси звенит от нервного волнения. Она даже не замечает среди этого волнения, что, помимо желания, дарит его, Думцева-Сокольского, лестным для него эпитетом «голубчик», тогда как в другое время он для неё – только «адски противный» и «самохвал».

– Голубчик, глаза сделайте мне!.. Умоляю, – тянет она,

глядя в зеркало, и вдруг вскрикивает пораженная: – какой красавец!. Адски шикарный! Чудо! Да неужели это – вы?

На поверхности стекла отражается совсем новое, почти прекрасное лицо мужчины. Кто мог бы думать, что этот сидящий барин-аристократ с манерами современного русского патриция, с правильным, гордым профилем и чуть затуманенными поволокой от грима глазами, что этот обаятельный образ принадлежит Думцеву-Сокольскому «любимцу публики», умеющему только ухаживать за женщинами, врать пошлости и нести ахинею о своих небывалых театральных грехах? Теперь он совсем не он. Такой *distingué*<sup>4</sup>, такая прелесть.

Муся с нескрываемым восторгом смотрит ему в лицо и вдруг вскрикивает самым неожиданным образом:

– А нос?

– Что нос?

– Да нос же ваш, где ваш нос?

Думцев-Сокольский теряет, как мальчик. Что с этой безумной девчонкой? Какой еще нос понадобился ей? Он осторожно холеной, пухлой рукою дотрагивается до собственного носа.

Но Муся уже заливчато смеется и неистово бьет в ладоши.

– Голубчик, что вы сделали со своим носом? Не сердитесь только, ради Бога! ведь он у вас был картофелькой, а теперь стал адски классическим, римским. Что вы сделали со своим

---

<sup>4</sup> Изящный. (фр.)

носом, прелесть моя?

– Муся! Sois done plus intelligente, chérie! <sup>5</sup> – слышится из-за ширм, за которыми гримируется Вера. – Бог знает, что ты говоришь!

– Ничего, Верочка, не бойся! Я его за обиду поцелую, если удачно сойдет у меня роль и если он сделает мне глаза Миньоны, – весело смеется бойкая девочка.

– Боже мой! Ты неисправима, Муся! – несется с отчаянием из-за ширм.

Думцев-Сокольский, сконфуженный и в первую минуту уколотый напоминанием о своем носе, действительно напоминающем собою нечто среднее между картофелиной и утиным клювом, сейчас вполне вознагражден. Он плавает как рыба в воде, в своей любимой стихии. Специфическая театральная атмосфера, такая неожиданная в этом старом барском гнезде и вследствие своего диссонанса с окружающей ее строгой обстановкой еще втрое обостренная для его притуплённой впечатлительности, совсем опьянила «любимца публики» в этот вечер. Запах дорогих духов, пудры, паленого на щипцах женского волоса, свежие девичьи лица, наивно испуганные, ярко горящие глазки, неестественно увеличенные от грима, – все это сладким дурманом кружить ему голову.

Стараясь быть мягким, вкрадчивым и скромным он набрасывает последние штрихи туши и румян на лица девочек,

---

<sup>5</sup> Да будь же умнее, милая! (*фр.*)

и под этими последними штрихами обе они – не только милостивая Муся, но и серенькая, незаметная Варя Карташова – становятся прехорошенькими. Девочки невольно любят себя, не замечая даже, что локти Думцева-Сокольского как-то уж слишком интимно прикасаются к их плечам, а его ласковые глаза словно нежат их лица.

– Мсье Сокольский, не откажите взглянуть и на меня! – слышится снова из-за ширм голос Веры.

Быстро покончив с гримом юных исполнительниц, Сокольский несется на зов старшей барышни.

«Боже, кто это? Откуда же она? Откуда?»

Он останавливается посреди биллиардной, полный восхищения и как будто даже какого-то испуга. Пред ним высокая, худая женская фигура в черном, почти монашеском платье; черный же платочек, низко повязанный надо лбом, дополняет это сходство с инокиней. Но как прекрасно её лицо в рамке этого подчеркнутого сурового костюма! Бархатные, обычно без искр и блеска, глаза горят теперь ясным пламенем. Она почти не положила румян на свои смуглые щеки цыганки, но естественный румянец волнения пробивается сквозь смуглоту её кожи, и эта нежная кожа теперь пылает. Да, она – красавица, положительно красавица сейчас, эта обычно старообразная и некрасивая Вера.

– Тамара! Дочь князя Гудала! Тамара, возлюбленная демона, вот вы кто! – с искренним восхищением, без малейшего пафоса на этот раз, шепчет Думцев-Сокольский и впи-

вается в девушку восхищенным взглядом.

– В самом деле? Вы находите? Значить, я не даром старалась гримироваться! – говорить она, и бегло улыбается чуть тронутыми кровавым кармином губами.

А сердце в это время поет:

«Да, да, это хорошо, что ты так прекрасна нынче... Он увидит тебя такую и полюбит еще сильнее, он, твой избранник, твой демон!»

\* \* \*

Не обходится и без инцидента, одного из тех, что часто повторяются на любительских спектаклях. Экономка Маргарита Федоровна, почтенная особа с крайне энергичным характером и с заметными усиками над верхней губой, громко возмущается из своего угла за ширмами, когда ей подадут мужской костюм для третьего акта.

– Это что за гадость! – кричит она, выговаривая «г», как «х», как настоящая хохлушка (она – малороссиянка по месту рождения и только волею слепого случая попала в Западный край). – Да что вы меня, милейшие, убить хотите, что ли? Да за кого вы меня считаете, чтобы я этакую нечисть, штаны, с позволения сказать, мужские на себя напялила? Да никогда в жизни! Да лучше я от роли вовсе откажусь! – все больше и больше хорохорилась она, нисколько не смущаясь тем, что ее может услышать собравшаяся уже в зале публика.

Вера, Муся, Варя, Зина Ланская, очаровательно пикантная, как француженка, в своем шикарном дорожном костюме (таковой требуется по ходу пьесы) окружают разбушевавшуюся Маргариту, уговаривают, просят, молят. «Любимец публики» решается даже опуститься пред нею на одно колено и, прикладывая руку к сердцу, с утрированным отчаянием произносить целую тираду, посвященную ей. Из мужской уборной ураганом вылетает Толя, очень забавный в костюме и гриме офранцуженного русского лакея, и снова все хором упрасивают и услащают оскорбленную в своих лучших чувствах Маргариту. Наконец, старая дева милостиво соглашается на все мольбы и обещает снизойти до «такого», по её мнению, «позора» и облечься в мужской костюм.

Звонок за кулисами внезапно прерывает эту оживленную сцену.

– Господи! До чего я боюсь, Варюша! Зуб на зуб не попадает, ей Богу. Адски страшно, душка моя. Ведь с первого же акта у меня такая трудная сцена! – и, тронув еще раз свое преобразившееся до неузнаваемости под гримом личико пуховкой, Муся птичкой, выпархивает за дверь уборной.

Едва касаясь маленькими ножками ступеней, ведущих на помост сцены, она вбегает наверх и замирает у заветного выхода на сцену. Здесь она быстро крестится мелкими частыми крестиками и робко, беспомощно оглядывается по сторонам. Как бьется её маленькое сердечко! Как замирает душа!

Из-за тяжелого, привезенного тоже из энского городско-

го клуба, занавеса слышится смутный гул собравшейся толпы гостей. Отдельные восклицания, смех, стук отодвигаемых стульев и кресел, знакомые и незнакомые голоса.

– Мне страшно, Варюша, безумно страшно! – шепчет снова с округлившимися глазами девочка, хватая за руку подругу.

Но и у той, у её «совести», как называет в шутку младшая Бонч-Старнаковская Карташову, сердце не на месте: она начинает пьесу, а первая сцена у неё не идет.

– Играю, как сапог, по выражению твоего брата, – с тоской шепчет Варюша.

– Ну и пускай! – своеобразным способом утешает ее Муся. – Зато ты – сама прелесть и адски хорошенькая нынче под гримом.

Откуда-то из-за кулис, словно из-под земли, вынырнули две скромные фигуры «Попугайчиков» – Ванечки Вознесенского и Кружки. Оба с явным восхищением влюбленными глазами смотрят в лицо Муси. Она смеется и роняет кружевной платочек. «Попугайчики» наклоняются оба сразу и в попытке поднять его сталкиваются головами.

– Это ничего... Это ничего, – лепечёт Кружка и трет покрасневший лоб.

Грим «Попугайчиков» с неумело приклеенными усами, бородами и грубо подведенными глазами нелеп до смешного. По всему видно, что они, как и Муся, на сцене – новички.

Но Мусе хочется нынче быть доброй, чтобы все были до-

вольны ею, чтобы она, как добрая фея, сеяла вокруг себя одну только радость и свет. Она улыбается смущенным юношам и ласково бросает:

– Желаю успеха.

– Сказка! – восторженно шепчет ей вслед Ванечка.

– Завтра же накатаю ей посвящение... Такое!.. – вторит ему не менее восторженно Кружка, за которым прочно установилась репутация поэта.

Новый звонок режиссера сбрасывает их с неба на Землю, возвращая к миру действительности.

Появляется Думцев-Сокольский, уверенный, смелый, обаятельный в своем новом виде. Заметив Мусю, робко прижавшуюся к кулисе, он подходит к ней и вкрадчиво шепчет:

– Я не забыл обещания и приложу все усилия, чтобы получить, заслужить его.

Но она только смотрит ему в лицо испуганными, с широко разлившимися зрачками, глазами... Ах, ей так страшно сейчас! Она ничего не слышит, ничего не понимает.

Мимо проходит Зина, обаятельная, уверенная в себе, прелестная. За нею несется неуловимая струя духов, известных ей одной, дурманная смесь каких-то эссенций.

– Маленький Толя! – кричит она спокойным, «домашним» голосом, за которым не чувствуется ни малейшего волнения, – куда вы девали мой зонтик? Давайте его сюда скорее!

Еще звонок – последний, третий, и с легким шорохом пол-

зет вверх тяжелый занавес.

## Глава VII

Давно уже старый дом в Отрадном не видал такого громадного стечения публики. На любезное приглашение радужных хозяев съехалось почти все окрестное русское и польское общество, мелкие и крупные помещики, считавшие за особую честь побывать в гостинной Бонч-Старнаковских. Офицеры энского гарнизона и артиллеристы из недалекой, в нескольких верстах отсюда, находившейся крепости, семейные и холостые, съехались на спектакль. Вице-губернатор (сам начальник края был в отпуске за границей) с супругой, предводитель с предводительшей заняли места в первом ряду кресел. Позади толпилась более скромная публика: мелкие служащие казенных учреждений ближайшего города с женами и детьми, штатская молодежь, слетевшаяся сюда с намерением от души потанцевать и повеселиться.

Еще до начала спектакля Вера разглядела в круглое отверстие в занавесе яркую, пеструю толпу – блестящий цветник провинциальных дам и барышень, мундиры армейских офицеров, свежие, молодые лица, искрящиеся как шампанское, взоры и оживленный улыбки. Отец её – высокий, статный не по летам старик с тонким, породистым лицом барина и изысканно-величавыми манерами – резко выделялся из всей этой разношерстной толпы. Владимир Павлович, радушный и хлебосольный по натуре, пригласив, по настоянию детей,

все окрестное провинциальное общество, всячески старался не давать скучать своим гостям. Он был со всеми одинаково предупредителен и любезен.

Вера во время хода действия, даже произнося необходимые по пьесе фразы и подавая реплики партнерам, спокойно разглядывала первые ряды кресел. Она была вполне равнодушна ко всему, что происходило на сцене и за рампой, равнодушна и к результатам собственной игры, собственно-го исполнения. Её спокойный голос холодно и ровно чеканил по заученному хорошо улегшиеся в памяти слова, а её стильное, прекрасное под гримом лицо не выражало ни тени волнения.

Но вот появился Рудольф в роли молодого купца Лопехина, и Вера широко раскрыла изумленные глаза. Она не успела повидать его до начала действия, и теперь, под гримом в этом своеобразном наряде – в шелковой косоворотке, в высоких сапогах, красивый, плечистый; сильный, с чужим, незнакомым ей лицом, с завитыми в кудри волосами, с курчавою же бородкой, – он показался ей настоящим красавцем.

– Богатырь! Илья Муромец! Канальски – *passez moi le mot!* <sup>6</sup> – хорош собой! Ой, не смотрите, медам, не советую: только свои сердечки погубите, *И est impitoyable* <sup>7</sup>, – Дурачась успел шепнуть Толя исполнительницам.

Вера серьезно и строго взглянула на брата и, пропуская

---

<sup>6</sup> Простите на слове. (*фр.*)

<sup>7</sup> Он неумолим. (*фр.*)

свою реплику, снова подняла взор на молодого Штейнберга.

Да, он безгранично нравится ей. Она любит его, любит на смерть и сегодня же постарается улучшить минуту переговоров с ним, условиться насчет завтрашнего дня. Завтра, конечно завтра он должен идти к отцу и просить её руки; через два дня отец должен уехать, так необходимо до его отъезда выяснить все. Она не хочет больше ждать и томиться, она не может больше страдать.

И, произнося без чувства и смысла длинные и, как ей казалось, совсем ненужные фразы, девушка то и дело поворачивалась в сторону Рудольфа, который очень добросовестно, с чисто немецким усердием подавал свои реплики.

Вообще этот спектакль шел слабо, как большинство любительских спектаклей. Но Анатолий, совместно с «любимцем публики» выбравший эту пьесу, знал, что делал.

Роль Раевской, главная женская роль, словно написана специально для Зины Ланской. Для неё собственно и поставлена вся пьеса, тем более что в этой роли очаровательная вдовушка намеревалась дебютировать на серьезной сцене когда-нибудь позже, потом. И помещик Гаев в исполнении Думцева-Сокольского бесподобен. Каждая его фраза сопровождается гомерическим смехом или глубоким сочувствием публики. Он ни в чем не уступает своей блестящей партнерше Ланской. Вдовушка прелестна; её смех, естественный и гибкий, заражает публику, а пикантная, полная блеска, внешность опьяняет молодой мужской элемент зрительного

зала. Прелестна и наивна Муся в роли подростка Ани. Белое воздушное платьице, распущенные по плечам локоны, вся её свежая внешность невольно возбуждают симпатии к этому милому ребенку-девушке. И когда Ванечка Вознесенский, по ходу пьесы студент Трофимов, восторженно посылает ей вслед в конце акта: «Солнышко! Радость моя!» – присутствующее в зрительном зале охотно верят в то, что она может быть и солнышком, и радостью, и не для одного только нескладного и неловкого чеховского студента, но и для многих-многих людей.

– Провалила! Провалила! С треском провалила! Всю роль смяла! – чуть не плача, бросаясь с ногами на кушетку в уголку за ширмами, поставленную в «уборной». лепечет Муся, ломая холодными, дрожащими руками тонкие пальчики «своей совести», Вари Карташовой.

– Неправда! Неправда! Отлично сыграла! Не выдумывай, пожалуйста! – успокаивает ее Варюша.

– Адски осрамилась! Я ведь знаю... Вот Зина – та шикарно провела свою роль, а ты и мы с Верочкой – безумно скверно... Бе-зум-но!

– Послушай, Мусик, ты, кажется, и в самом деле расхныкаться намерена? – и темная фигура Веры неожиданно вырастает перед кушеткой. – Или ты тоже на настоящую сцену собираешься поступить, как Зина? Но, девочка, если даже допустить, что ты сыграла так скверно, как ты говоришь, то ведь мы же – не профессиональные актрисы, а люби...

Она не договаривает. В уборную стучать.

– На сцену, медам! Прошу на сцену. Мадемуазель Муся, вы были очаровательны, вы были само совершенство...

– Кто это? «Любимец публики»? Ах! Неужели правда? А вы не заливаете, голубчик?

– Муся! – в один голос ужасаются Вера с Варюшей на специфическое словечко этого «enfant terrible» семьи Бойчей.

– Нет, серьезно, недурно.

– Не провалила? Нет?

– Очаровательно!

Девочка так вся и вспыхивает, польщенная.

– Оча-ро-ва-тельно! – рисуется актер за дверью. – Вы слышите аплодисменты? Это же вам. Вы ведь кончили сцену. Идите же раскланиваться. И вы, Вера Владимировна, тоже.

– Ах! – Муся в изнеможении счастья всплескивает ручками и птичкой летит на сцену.

Ванечка и Петр Петрович Кружка первые приветствуют ее аплодисментами у кулис. Не чувствуя ног под собою, Муся под градом этих и других аплодисментов, несущихся из зала, останавливается посредине сцены и низко приседает как «всамделишная» актриса. Молодые крепостные офицеры особенно усердно хлопают, не жалея рук.

С тихим шелестом опускается занавес. В зале военный оркестр начинает какой-то меланхолический вальс. Он звучит еще и тогда, когда поднимается занавес для третьего акта.

Бал в усадьбе «Вишневого сада». Музыка, легкий провин-

циальный флирт, смешанное общество. Пришлось привлечь еще кое-каких исполнителей для этого акта из среды окрестных соседей.

«Совсем как у нас нынче», – невольно приходит молчаливое сравнение в голову Веры.

И вдруг в кулисах показывается испуганная голова Думцева-Сокольского.

– Шарлотта Ивановна! Где Шарлотта Ивановна? – спрашивает он. – Сейчас её выход, а её нет.

– Какая Шарлотта Ивановна? Ах, да, Маргарита! – с трудом догадывается Вера, мысли которой теперь полны Рудольфом, только им одним. – Да где же и вправду Маргарита Федоровна, где она?

На сцене воцаряется продолжительная пауза, за сценою же разгорается суматоха. Анатолий задними ногами пробирается в буфетную. Так и есть: предчувствие не обмануло его, Маргарита там. Так, как была в костюме и гриме, в невозможных клетчатых брюках, от которых так упорно отказывалась еще до начала спектакля, в рыжем парике, съехавшем на бок, расвирепевшая Маргарита Федоровна иступленно кричит что двум вытянувшимся пред нею в струнку лакеям. При виде вошедшего Анатолия она вся так и заходится от нового приступа бешенства и, схватив со стола какой-то предмет, сует его чуть не под самый нос молодому человеку.

– Нет, вы полюбуйтесь, молодой хозяин! Нет, вы полюбуй-

тесь только, что эти скоты здесь натворили!.. Это что?

Анатолий опешил. Что это в самом деле?

Какие-то черепки, кусочки фарфора.

– Дрезденская чашка! – вопить неистовым голосом Маргарита.

– Что чашка? – не понимает Толя, морщась, как от боли, под звуками этого зычного, вульгарного голоса.

– Нет, подумать только: генеральшину чашку и вдребезги эти хамы...

– Маргарита, милая... Успокойтесь! На сцену вам надо. Чашки же, право, не воскресишь.

– Да подите вы, Анатолий Владимирович! С ума тут по-сошли, что ли? Да, пока я играть там буду, они мне здесь всю посуду пере...

Но ворчливой экономке не суждено окончить начатую фразу. С самым галантным и в то же время энергичным движением Анатолий просовывает её руку под свою и почти силой увлекает ее за кулисы.

– Что вы наделали? У нас тут по вашей милости пауза до завтрашней ночи, – хватаясь в отчаянии за голову, встречает ее зловещим шипением Думцев-Сокольский.

– Что там пауза, когда дорогую чашку... – ворчит неугомонная Маргарита и как-то боком, смешно и сконфуженно протискивается на сцену.

Публика встречает ее взрывом смеха.

В этом действии Зина Ланская превосходить себя. Она

бесподобна, это – настоящая, законченная актриса. Недаром же она мечтает о драматических курсах, на которые хочет поступить этой осенью. В сцене кокетства она легка и прелестна. Но едва ли не лучше выходят у нее и серьезные моменты. Глубокое, искреннее горе звучит в её голосе, когда она узнает о продаже с торгов своего родового поместья, и плачет настоящими слезами. После этого так реально выраженного горя и слез как-то неохотно прислушивается публика к речам других исполнителей, звучащих со сцены. И даже блестящий монолог Лопахина, со слов и по звуку голоса воспринятый от Думцева-Сокольского, теряется и блекнет после её мастерской игры, как блекнет алая заря пред золотом восхода. Только одна Вера жадно ловит каждое слово, каждый звук голоса молодого Штейнберга, и сердце её дрожит сильнее, это так неожиданно пробудившееся страстное сердце.

Спектакль кончается. В зале двигают стульями. Неистово хлопают исполнителям, что-то кричать...

«Совсем, как в настоящем театре!» – с восторгом думает Муся.

Несколько молодых офицеров пробрались на сцену и, окружив исполнительниц, взапуски приглашаюь их на танцы, расточая похвалы и комплименты их игре.

– Марья Владимировна, контрданс со мною! – слова изпод земли вырастает пред Мусей Думцев-Сокольский.

Опьяненная успехом и влюбленными взглядами окружа-

ющей ее молодежи, Муся смотрит сейчас с вызовом в лицо актера.

– Согласна, но только с условием: оставайтесь гриме, слышите? Так вы много шикарнее, чем бритый... Да! – говорить она и звонко смеется.

А модная, дразнящая и раздражающая мелодия вальса словно нехотя уже несется под сводами старинного белого зала, там, где столетия тому назад гремели и краковьяк, и мазурки, а очаровательный паненки носились об руку с рыцарями Польши.

Обвив рукою талию Зины Ланской, Анатолий, увлекая свою даму, быстро сбегает с подмостков и кружится с ней под эти томящие, страстные звуки. За ними следуют и остальные пары.

Ванечка и Кружка оба сразу подлетают к Мусе, но – увы! – она уже уносится в объятьях артиллерийского поручика, и оба юноши с восторгом шепчут ей вслед:

– Сказка! Ты понимаешь, Иван, это – сказка, и подобной не найдешь в целом мире.

– Эх, брат Кружка, – сказка, да не для нас... А впрочем... Пойдем-ка с горя приглашать исправничьих дочек.

## Глава VIII

– Какая ночь! Господи, ночь какая! Теплынь и этот воздух... Он весь напоен, пропитан розами... Я обожаю их пряный аромат. А вы, маленький Толя? Вы любите розы?

– Я люблю вас, Зина, и только вас.

– Опять! Но это несносно. И вам не наскучило еще подобное однообразие? Оно вам, право, не к лицу, и потом... Я понимаю преследовать цель, сколько-нибудь достижимую, а ведь я для вас...

– Вы для меня – самое дорогое и самое острое, что я знаю на земле.

– Да ну? Неужели? Острее Жильберты даже и крошки Ирэн? Маленький Толя, да?

– Бросьте этот тон, Зина! Я его не выношу!

– Не говорите дерзости, а то я встану и уйду, скверный вы мальчишка.

– Нет, нет! Ради Бога, только не это! Я буду скромн и тих, как добрый старый сенбернар, уверяю вас, Зина...

– И еще условие: сорвите эту гадкую бородку, она – противная и скрывает ваш подбородок. А мне нравится ваш подбородок, Толя... Нравился еще с детства, когда вы, были маленьким-маленьким. Я люблю его упрямую, стальную линию. Мне кажется, у Нерона должен был быть такой жестокий, упрямый подбородок. А я люблю жестокость... Да...

Что вы на это скажете, маленький Толя?

– Мне нет дела до Нерона, Зина, и еще менее – до его подбородка. Мне нет дела ни до кого, ни до чего, кроме вас и моей любви к вам... Зина, Зина! Взгляните же на меня, милая, раздражающе прекрасная Зина, милая женщина с капризной душой, за которую я...

– Тссс! Не надо неистовств, маленький! Взгляните лучше, какая ночь, и пейте её аромат и тишину... Пейте и пустите мои руки, Толя!.. Анатолий! Я не терплю насилия; я – сторонница полной свободы и люблю... Нет, нет, не вас, а ее... Ее, эту ночь.

И смех очаровательной вдовушки звучит снова, как смех русалки или ночной эльфы, покачивающейся па чашечке цветка. Да, эта ночь прекрасна. Сад, опоясанный длинною, извилистою гирляндою цветных фонариков, кажется какой-то волшебной феерией вокруг белого, старинного, стильного палаццо. Но выше и дальше черный бархат западной ночи поглотил в себя эти пестрые, разноцветные праздничные огни. А здесь, у дальней скамейки па берегу, приютившейся над самой водою, под кровом беседки, воздушной и легкой, как готический замысел старины, опять полутьма и нежащее веяние тишины. Лица собеседников едва намечаются в этом призрачном полусвете, ближайшие фонарики бросают причудливый свет на их черты. А в ушах все звучит трепетно и истомно радостная, сладкая мелодия модного вальса. И эти розы на куртинах так чудовищно пахнуть

сейчас!

– Я – точно пьяная нынче, – не своим и словно смягченным голосом говорить вдовушка. – Я влюблена в эту ночь и в эти розы, и еще в кого-то, сама не знаю, в кого.

– Увы! Не в меня конечно?

– Увы! Не в вас, маленький Толя. И мне это, поверьте, досаднее, нежели вам.

– Да, охотно верю, потому что вы не можете не знать. что я люблю вас столько времени, – отвечает молодой офицер без тени обычной шутовности в тоне.

– А Жильберта? А Ирэн Круцкая? А Бэби, ради которой вы наделали прошлой осенью столько долгов? Вы видите, я осведомлена по этому поводу лучше, нежели вы это предполагаете, мой маленький, – и Зина снова смеется.

Анатолий смотрит с минуту на нее влюбленными глазами, потом говорить глухо:

– Молчите или сейчас вот опрокину вашу головку себе на руку, Зина, и вопьюсь губами в ваш дерзкий рот, в ваши алые вкусные губы, которые столько времени дразнят меня...

– И вы о-сме-ли-тесь!

– Моя любовь осмелится, Зина. Берегитесь!

Голос молодого человека вздрагивает, его горло сжимается судорогой страсти.

Нет, довольно однако, пора это пресечь!

И хрипло, сдавленно вырывается у него из груди слово за словом. Да, он любить Зину, любить давно – два, три года.

Не все ли равно сколько? Но он болен, болен этой любовью, пусть же она это поймет. Он хочет любить ее всегда, открыто обладать ею. Её душой и телом, потому что она прекрасна. Жильберта, Бэби, Ирэн... Смешно, право! Один вздор, и только... Все это – вздор, игра нервов и крови... А ее он любит безумно. И вот в последний раз спрашивает он ее: «Да» или «нет»? Согласна ли она стать его женою? Он ждет её слова, её последнего, решающего слова.

Руки Анатолия отыскивают в темноте пальцы Зины и сжимают их так сильно, что она вскрикивает от боли.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.